

*Дорогой Володя!*

В чебоксарской жизни, где в поисках людей с интересной, неспокойной, кричащей душой мне приходится мучиться, как Диогену, с той разницей, что греческий философ с фонарем<sup>1</sup>, а я, чувашский недомыслитель, ищу с книгой нынешней русской критики трусливой, поэтому лживой – твое письмо своим правдивым светом пронзило меня насквозь, задело сердце, печень и селезенку. Впервые я с тобой познакомился в издательстве на каком-то праздничном банкете, где сидел в кругу Исаева и Б. Ив. Соловьева, ныне покойного.

Мне в моей университетской жизни приходилось в самом начале тридцатых годов встречаться с П. Васильевым и Б. Корниловым, через них с Сергеем Клычковым, даже с Николаем Клюевым, И. Приблудным, вообще, с многими людьми, которые давно в земле, в какой – неизвестно. Покойникам и знаменитым не повезло в жизни, после смерти и в критике.

Надо писать некоторые главы нашей русской советской поэзии не по дурно и неверно построенным планам концепций, а по твоим душевно протестующим, справедливо кричащим стихотворениям, посвященным Маяковскому, Есенину, Смелякову и Коваленкову.

Твои строки, где ты впервые, презирая установленную лживую версию о смерти Маяковского, утверждаешь, что

Ведь пускает в себя пулю

Комиссар, окруженный врагами в бою,

меня потрясли; и мне кажется, что маяковсковеды, если так можно выразиться, если им нужна правда в исследованиях, обязаны перечитать эти жгучие строки, глубоко и честно задуматься, и согласиться с тобой. После смерти поэта прошло столетие, а критическая мысль по-прежнему обвиняет поэта, что он не мог побороть по своей слабости мрачные минуты и покончил жизнь самоубийством...

Я дружил с Смеляковым с 1932 года, близко знал его и в послевоенные годы. Ему пришлось пройти все три ступени дантовской комедии, и он вытерпел, был злым, но ко мне относился тепло. В последней встрече он мне говорил, что он состоит членом редсовета издательства “Художественная литература”, просил меня представить в издательство “Симбирскую хронику” и уверял, что эту многотысячно-строчечную громадину переведет сам и обязательно добьется включения в план издательства и надеется, что книга войдет крупно и талантливо в лениниану.

Скоро мой Ярослав ушел туда, где нет ни клеветы, ни водки, где его никто не осмелится трогать, и я свою книгу отложил в долгий ящик. Ты, душа-друг, отлично, по-человечески понял трагедию Ярослава. Его книга “День России” является венцом поэзии нашего времени, я буду рад, если заговорят о ней в нашей критике, поставив рядом с ней и твой однотомика. Время, в котором мы жили и живем, огромно, его шаги тяжелы, в нем бывают ошибки и перегибы, опасно, если они приобретают постоянство, по их воле поднимаются на святейший Олимп бездарные виршеплеты, шарлатаны-рифмачи, эстрадные крикуны и визгливые бабенки, а таланты, что редкость, остаются вне внимания. Смеляков появился талантливо, был заметным, и на него обрушились беды. Он не писал, а создавал книгу сердцем, и радуясь и чувствуя беду. Я знал крепко и чувствительно Твардовского. Как-то раз в Малеевке, в феврале 38 года, когда мы выпили, я сказал ему, что он может стать великим. Он нахмурился, назвал меня почему-то Пугачевым и предупредил не высказывать это публично в Доме творчества, ибо, говорил он, если это дойдет до парткома, его секретарь Михаил Голодный примет кое-какие меры. Твардовский в переплетах бывал в молодости, а потом с помощью Фадеева чувствовал себя хозяином своей судьбы, поэтому только в своей “Дали” вспомнил горькую судьбу своего давнего друга и выразил душевную боль при встрече с ним<sup>2</sup>. Смеляков сам не раз попадал в беду, боль у него была личная, что оставила трещины в сердце. К нашему сожалению, много трещин в сердцах у многих поэтов нашего времени, суровой эпохи. Были эти трещины и у моего друга Саши Коваленкова, с которым я познакомился весной 38 года в Голицыне, вскоре после своего освобождения от многих бед и потрясений, связанных с бешеным разгулом сталинских репрессий. Саша до конца своей жизни оставался мрачным, недовольным своей судьбой, не раскрывая и оберегая ее в себе.

Ты, Володя, рекомендуешь в письме находить свободное время для чтения твоих стихов. Ты всегда был и остался в моем сердце, читаю и перечитываю тебя, считаю поэтом редким, несправедливо забываемым нашими критиками, о которых я писал в начале письма. Будь себе судьей, плкой на критиков, твори!

Живу я в себе, пишу, накатал после смерти жены в течение десяти лет больше 15 поэм, не завершил их, храню у себя. Просьба к тебе: убеди Ирину Серафимовну<sup>3</sup> выделить для моих книг редактора, с которым я мог бы работать душевно, готовить переводы с подстрочников, немногих по количеству, с тем чтобы я мог их, как требует издательство, опубликовать прежде в периодической печати. Тебе

хорошо известно, что поэты сейчас себе на уме – рациональном и утилитарном: сперва договорись с издательством, только потом дай им подстрочники. Дело в рублях, а не во вдохновениях. Я могу писать, видимо, как говорится, талантливо, сносно, но не владею деловыми навыками, не торчу в Москве, мне лучше и привольнее творить в бане, где прохладно в знойный день и приятен запах старых березовых веников, чем сидеть перед зав. отделом поэзии какого-нибудь журнала и хлопотать перед ним ради того, чтобы мой переводчик получил добавочный гонорар и приступил к строительству дачи.

Видишь, и я стал бизнесменом, надоедливым и прилипчивым хлюстом. Освободи меня от этого греха, дай волю сидеть, стоять в своей комнате, ходить по своей чувашской земле, изучать квадратный аршин земли с его жучками, червями и травами.

Низко кланяюсь Анне Михайловне<sup>4</sup>, желаю ей счастья, в минуты грусти читать и перечитывать твоё стихотворение “Автопортрет” серьезно, хотя оно называется шуткой. Передай Гале<sup>5</sup> мой привет и сожаление, что я в Чебоксарах не мог встретить её, ибо в её приезд находился в деревне.

Твое письмо получил сегодня с радостью, отвечаю с радостью, что имею твой одностомник, золотой клад твоей души...

Сердечно твой Я. Ухсай

27 марта 1980 г.

*Дорогой Володя,*

После обращения к тебе я ставлю запятую, ибо у меня после дороги нет причины восторгаться поездкой в Москву, вернулся домой усталым и почти неграмотным в вопросах литературы<sup>6</sup>. Да еще в пути из скромного чуваша превратился в глупого черта – ехал 13 декабря в тринадцатом вагоне, заняв по билету тринадцатое место. Наши начальники, именуемые себя руководителями литературного движения, блаженствовали и пили водку в 12-ом купейном вагоне, я на своем тринадцатом месте читал и перечитывал твоё стихотворение, и мне запомнились твои строки:

Не бар пивной, не бар, а диво! –  
Прохладный зал, полуподвал.  
И в нем такие раки, пиво,  
Что и Твардовский там бывал.

Вникнув в историчность этих строк, я не спал, погрузился в печальные строки, ушел в прошедший мир, где сам бывал, и поплыл перед моими глазами дни и годы во видениях... И я перестал мыслить

по-чувашски, превратился в какого-то француза-экспрессиониста, живущего в погоне за прошлым временем, туманно вспомнил эпизод из произведения Марселя Пруста, где он описывает встречу с каким-то человеком в пальто, у которого пуговицы были похожи на пуговицы пальто Анатоля Франса. Потом Марсель Пруст совершенно забывает своего героя, до мельчайших деталей описывает свои встречи с Анатолем Франсом<sup>7</sup>. Твое стихотворение лишило меня сна в тринадцатом вагоне, и передо мной вставали исчезнувшие на Страстной площади дома и друзья, давно ушедшие в мир иной, где нет ни телефона, ни раков, ни пива, ни водки.

Все вместе ожило; и сердце понеслось  
Далече...

Эти строки пушкинские врезались в память и вернули меня к друзьям-покойникам, с которыми мне приходилось встречаться перед бронзовым Пушкиным на Тверском бульваре. Как мне помнится, в жаркое лето 32 года я, двенадцатилетний студент, шел по Тверскому бульвару, и меня звал к себе правой рукой Павел Васильев, сидя в нише каменного забора, перед Домом Герцена, где тогда находилось Правление РАППа, другие литературные организации и ресторан писательский. В нем часто бывал Алексей Толстой и шумел Сергей Клычков... передразнивал рапповцев, пел церковные псалмы, сидела Лидия Сейфуллина, рядом с мужем Кравцухиным. Ресторан в летнее время располагался во дворе. В этот день во дворе Дома Герцена, о котором Маяковский писал, что “хер цена Дому Герцена”, было тихо, безлюдно. Выпивший Васильев сидел в нише свободно, чувствуя себя хозяином всего бульвара, перед бронзовым Пушкиным обнимал левой рукой Иду Брук и, помахивая правой рукой, мне сказал:

-Ты будешь свидетелем того неоспоримого факта, что я не антисемит. Смотри, я как люблю еврейку.

Паша Васильев перед проходившими толпой людьми смачно целовал Иду Брук в полные губы. У него самого губы были тонкие, уличавшие его в хитрости и ловкости. Действительно, Васильев, и как Есенин, в жизни от многих литературных болванов, отличался не только талантом, но и чрезмерной хитростью.

Твое стихотворение о Коваленкове душевное, чудесное. На углу Страстной площади (ныне Пушкинской) и Тверского бульвара рядом с аптекой находился дом, где я встретился с Сашей Коваленковым и его женой Лизой. В этом доме в 1938 году я бывал часто, нахо-

дил для своей измученной души пристанище. В разговоре с Сашей рассеивал свои мрачные мысли. Мне было чрезмерно трудно носить на себе клеймо “враг народа”, данное мне чувашскими бумагомарателями, и я находил душевную поддержку со стороны Саши Коваленкова, человека щедрой и обаятельной души. Я не могу писать мемуары о себе и о кошмарах своего существования в условиях драконовских сталинских репрессий, видимо, и не надо возвращаться к ним, поэтому я только комментирую человеческий смысл твоих стихотворных строк.

Марсель Пруст писал обстоятельно о пуговицах Анатоля Франса, и ты пишешь о раках и пиве, связывая их с Твардовским, не обмолвив ни словом о трагедии его жизни, когда вся его семья еще в самом начале тридцатого года была раскулачена и репрессирована. Саша Твардовский, сын кузнеца, бывший секретарь сельской комсомольской организации, из многочисленной семьи остался свободным один нетрепетным, не потерял веру в колхозный строй. В огромном Смоленске заступился за его судьбу один Михаил Васильевич Исаковский, и он, коммунист, мог пострадать за него. Он вел отчаянную борьбу за Твардовского, будущего великого русского поэта.

Не в лучшем положении оказался и я. Многие мои близкие родственники по линии матери и отца в годы разгула перегибов были раскулачены, вырваны с корнями с родной им земли. Великий Константин Иванов, семнадцатилетним юношей создавший поэму “Нарспи”, мне приходится троюродным братом. В 1930 году его два брата были раскулачены, был раскулачен и каменный дом, где жил и умер поэт. Все же я написал колхозную поэму “Свадьба”, написал вместе с Хузангаем письмо чувашского народа Сталину. Это стихотворное письмо было опубликовано в 1937 году, и в том же году я был объявлен врагом, лишен права работать и печататься. Мне разрешили добрые люди работать преподавателем в педучилище в глуши, в далеком от Чебоксар районе. Вскоре вышвырнули и с этой работы, широко оповестив об этом в республиканской печати. Когда в небольшом селе я выходил на улицу, все люди сторонились меня, боялись как чумы; хозяин, совсем недавно гордившийся тем, что в его доме живет выдающийся поэт, автор письма товарищу Сталину, просил меня со слезами на глазах, оставить угол, а ночью два человека водили меня на допрос и держали осенью до рассвета. В ожиданиях решения я страдал в мрачных предчувствиях, боялся не за себя, боялся за судьбу отца и матери, братьев и сестер. Я не знал никакой вины перед страной и народом, но, как Леди Макбет, страдал бессонницей и у знакомой девушки, работавшей в аптеке, достал целую бутылку креп-

кой снотворной жидкости и впервые узнал, что мразь имеет латинское название. Я, всеми презираемый человек, певец чувашской земли, эту латинскую жидкость пил глотками, потом ложкой и, наконец, осушил бутылку, все же не заснул, рвало меня, и рвало страшно, и я лишился сил, но все же меня ночью водили на допрос, требуя признания не вины, а участия в преступной антигосударственной организации. Начальник в октябрьскую ночь меня своими допросами довел до бешенства, вынул пистолет и кричал: «Застрелю!» Он охрип и от усталости пистолет положил на стол. Я этот пистолет взял и приставил ко лбу начальника и сказал: «Подпишите, разрешите мне выезд из вашего района».

И он подписал бумажку. Тогда в глубинном районе трудно было встретить не только легковую, но и грузовую машину. Я кое-как на попутном грузовике доехал до станции Канаш. Тогда не было еще железной дороги до Чебоксар, редко курсировали автобусы. Из большой очереди я добрался до кассы, показал свой московский паспорт, полученный еще в 1932 году; молодая кассирша, узнав во мне врага, отказалась продать билет. Я глубокой ночью, когда в темноте меня никто не узнавал, сел на грузовик, груженный столами, стульями и шкапами. На крутом повороте в семи верстах от мочального древнего города Цивильска грузовик повернулся, я успел заметить холодные звезды на горизонте, очнулся утром 16 октября 1937 года на мерзлой земле с разбитой левой ногой и разбитой грудью. Пролежал до рассвета, когда услышал тарахтенье крестьянской трескучей телеги, я закричал что-то. Немолодая чувашка на телеге завезла меня до районной вонючей больницы. И там я был узнан и оказался в коридоре, врач отказался поместить меня в палату, хотя я и намекнул ему, что имеется Женевская конвенция, согласно которой враги и друзья должны лечиться на равных правах.

Дальше комментировать твое стихотворение не стану, вернусь к нему в следующем письме, если найду время. Пока дойду до бара, раков и пива, знакомства с Сашей Твардовским, предстоит мне побывать в разных переплетах, мучиться и страдать от людских несправедливостей.

Хотелось, как хотелось мне написать письмо личное и Анне Михайловне, доброй русской душе. Не только в Дагестане, но и в чувашском народе много всяких притчей и сказаний, и мудрых и озорных. Меня не трогают древние балагурства, и я, как Лермонтов и Некрасов, живу в обыкновенной народной современной жизни, расскажу в следующем письме о баре, и бане, особенно ярко и правдиво расскажу о русской водке, которую мы с Твардовским пили в Малеевской бане, предварительно выиграв деньги в очко.

Есть в народе мнение, что недопеченный хлеб на одни сутки, а злая жена – на всю жизнь. Я рад, что ты, дорогой Володя, живешь долго с одной доброй Анной Михайловной, от нее имеешь добрую династию Туркиных. Кланяюсь Анне Михайловне, счастлив я тем, что встречаюсь с ней в Москве, где слезам никто не верит. Меня жизнь была нещадно, научила не плакать, хотя иногда мне хочется плакать.

Ты оказался в недоумении, как перевести на русский язык мою поэму о собачьей шкуре<sup>8</sup>. Тебе кажется, что нельзя писать о собачьей шкуре больше строк, чем о Медном всаднике. Нет маленьких тем в жизни. Я в далеком детстве не знал о царе Петре, для меня был великим другом обыкновенный крестьянский пес, выше всяких царей и князей, картошка казалась прекрасной пищей из всех блюд в меню. Байрон писал просторно об английском пироге, а я хочу воспеть картошку, которую ел Шалапин, без картошки не мог обходиться и Владимир Ильич. Он в детстве парился в чувашской бане, Иван Яковлевич, чувашский писатель и просветитель, хлестал его березовым веником в бане в своей деревне Кошки, декламируя балагурные чувашские стихи. Об этом у меня есть поэма из цикла эпопеи «Симбирская хроника», что лежит в моем архиве.

Есть у меня роман в стихах “Перевал”, что издан твоим издательством в 1952 году в плохих переводах В. Цвелева, Б. Иринина и П. Дружинина. Найди время и прочти главу о петушином бое. В подлиннике о бое двух петухов рассказывается подробно, в нем больше строк, чем о Полтавском бое. В нем больше 300 строк. Если действительно так, говорил мне Твардовский, это гениально!

Желаю тебе здоровья, другое приложится к твоей жизни.

Пиши!

Сердечно Я. Ухсай

14 декабря 1980 г.